

С. Б. Адоньева (Санкт-Петербург)

Похоронные плачи, структуры памяти и основания жизненного мира

Артикулируемое посредством похорон и поминания отношение к смерти и мертвым относится к ряду фундаментальных конвенций, посредством которых сообщества производят и поддерживают общий для них *жизненный мир*. В отличие от картины мира (категории, привычно употребляемой для описания культур с внешней точки зрения), *жизненный мир* — это мир, который мы вместе переживаем. За похоронно-поминальными действиями стоят чувства и ценности конкретных людей: боль утраты, артикуляция которой определена конвенцией приличия и нормы, лояльность семье и группе, структуры памяти, жесты соболезнования и поддержки, стремление к социальному признанию и пр. Известное выражение Альфреда Коржибски «Карта не есть территория» здесь вполне уместно: в отличие от картины мира, представляющей собой нечто вроде карты и схемы, *жизненный мир* — динамический многомерный объект: его смыслы подлежат постоянному согласованию, и это происходит в конкретном времени и пространстве, во взаимодействии людей и лицом к лицу.

Первым философским актом, — писал Морис Мерло-Понти в книге «Феноменология восприятия» (1945), — должно стать возвращение к жизненному миру, находящемуся по сторону от мира объективного, поскольку только в нем мы смогли бы понять законы и пределы объективного мира, вернуть вещи ее конкретный облик, организмам — их собственный способ отношения к миру, субъективности — неотъемлемую ее историчность [Мерло-Понти 1999, 91].

Каким бы привычным и повторяющимся ни было действие или высказывание, его смысл образуется здесь и сейчас. Возводя его к общей схеме-карте, мы утрачиваем «территорию». Поэтому для нас во время полевого исследования очень важно узнать у NN, почему она решила, что ей не следует идти причитать по соседке, или спросить XX, почему он вызвался копать могилу для покойницы-соседки. Это важно, поскольку смысл действия создается в акте произведения действия или высказывания, он не отчуждаем от участников события, как не отчуждаем он и от той коммуникативной ситуации, в которой происходит рассказ об этом событии: NN хочет сказать нам о чем-то еще, рассказывая о своем решении, XX сообщает нам нечто важное о себе, а не о схеме похоронного обряда в его деревне. В первом случае мы узнаём, что внутренний конфликт NN связан с тем, что ей как причетнице надо всех «расклевать» (заставить плакать), а родственники лишних слез на похоронах не хотят. Она принимает на себя ответственность за нарушение обычая, по которому все должны быть оплаканы, а она умеет, а значит, и должна это сделать. Во втором случае мы узнаём, что эта работа

была для XX возвращением долга соседке, который был им не отдан при ее жизни. Элемент похоронно-поминальной традиции работает как условие для развертки голограммы жизненного мира наших собеседников. Избирая в качестве метода исследования диалог и понимание, а не фиксацию текстов и обычаев, мы концентрируем свое внимание на людях, которые прибегают к определенным символическим практикам и дискурсам для собственных нужд и потребностей. Такое перемещение внимания возможно только при условии отказа от «объективной» позиции исследователя. Как отмечает Юрген Хабермас:

<...> проблема «понимания» в гуманитарных и социальных науках приобрела методологическое значение прежде всего потому, что ученый не получает доступа к символически предструктурированной реальности посредством одного лишь наблюдения и что понимание смысла не поддается такому же методическому контролю, как наблюдение в эксперименте. Социальный ученый имеет к жизненному миру в принципе такой же доступ, что и социально-научный профан. Он должен уже в известной мере принадлежать жизненному миру, составные части которого он хотел бы описать [Хабермас 2008, 7–8].

Рассмотрению динамики жизненного мира российского деревенского сообщества в точке отношения со смертью и мертвыми и посвящен настоящий текст. Местом доступа к этой теме нам послужат разговоры с исполнительницами причитаний, записанные нами (мною и моими коллегами — участниками фольклорных экспедиций Санкт-Петербургского государственного университета) в разные годы — с начала 1980-х и до 2015 г. — в Архангельской и Вологодской областях.

Мы записывали причитания от деревенских женщин, принадлежавших разным поколениям: хронологически поколения можно обозначить лишь очень условно: годы рождения 1899–1916, 1917–1929, 1930–1950¹. Возраст исполнительниц причитаний имеет прямое отношение к тому, какое место занимало это импровизационное умение в их жизни и их убеждениях, а также к тому, как связано причитание с отношением между живыми и мертвыми.

Самое старшее поколение наших собеседниц, умевших причитать на похоронах, — женщины, рожденные в конце XIX в. — начале XX в.: 1899–1916 гг. С женщинами этого поколения я встречалась в экспедициях 1983–2000 гг. Эти женщины родились в «больших» крестьянских семьях: их воспитывала бабушка (мать отца, большуха). Главным в семье был дед — отец отца, которому подчинялся весь дом. Они получили домашнее воспитание и выучку, были крещены в младенчестве. Они принимали участие в свадьбах и похоронах, слышали причитания старших и повторяли их, когда разыгрывали свадьбу или похороны в кругу своих сверстниц, в детстве. Их юность пришлась на еще не разрушенную деревенскую общинную жизнь. Их выдавали замуж «по-старому»: по согласованию родителей, со сватами. К моменту коллективизации большинство из них уже были замужем. Во время коллективизации «раскулачивали» большаков, т. е. 40–70-летних хозяев с их большими семьями: это были отцы и свекры этих женщин. Забирали на фронт их мужей, ставших после разорения, случившегося в начале 1930-х, главами семейств, а также их подросших парней-сыновей. Эти женщины приняли *большину* во время войны 1941–1945 гг. от своих свекровей, доживавших с ними свой век. Жизненный опыт, который они вынесли из разорения

¹ Предлагаемая периодизация поколений в общих чертах совпадает с предложенной Д. Л. Ранселем в его монографии, посвященной крестьянским матерям России и Татарии [Ransel 2000, 4–7].

1930-х гг., изнурительного труда военных и послевоенных голодных лет, состоял в том, чтобы сохранять в себе те знания, правила и устои, которым их обучили старшие: молитвы и заговоры, духовные стихи, сохранение внутрисемейной иерархии, почтение к предкам и пр. Наибольшее количество причитаний записано нами от женщин именно этого поколения.

Это не всегда было очевидно собирателям, но их следование традиционному похоронному ритуалу, в том числе потребность оплакать покойного, в значительной степени было их личным протестным по отношению к советской власти, осуждавшей «бабий вой», выбором. На фоне борьбы с религиозными предрассудками 1920–1930-х гг., осуществлявшейся советской властью повсеместно, публичное похоронное причитание было, несомненно, трансгрессией. Оно было проявлением веры в загробную жизнь: мертвые живут в другом месте, но не в прошлом, не в другом времени. И именно поэтому они могут помогать живым, они — патроны, или «родители». Разговор с умершим на похоронах был формой проявления их этоса, публичным жестом, утверждающим основания того жизненного мира, к которому они принадлежали. В его основании убежденность в том, что все мертвые — живы, что взаимным попечением мертвых и живых обеспечивается порядок социального мира, а долг перед мертвыми — основание всех прочих императивов. Важно и то, что подобный разговор — рассказ об общем опыте умершего и причитающей, в нем высказывалось открытое личное суждение об отношении личных биографий с большой историей. В 1985 г. мы записали причитание от Настасьи Максимовны Кобылиной, она причитает по золовке и говорит о ее и своем вдовьем опыте, а также об опыте их мужей, которые погибли вдали от дома:

Золовке причитала, хоронила золовку:
Богоданна моя да золовушка,
Уж ты сама жила да не красовалась,
Уж нас уехали, спокинули да побросили
Егор-от да Васильич, Павел да Григорьевич,
Уж не во пору да не во время,
Молодым-то да молодехоньки,
Зеленым-то да зеленехоньки.
Уж осталась с малыми да малолеточками,
Со старыма да стариками,
Уж не по своей волюшке они да уехали,
Уж не по своему да желаньцу,
По военному да приказаньцу,
Им словами-те не отпроситься,
Им деньгами-то не откупиться.
Уж они погибли у нас да за быстрыми-то за реками,
За темными да за лесами,
Да за высокими да за горами;
Уж мы не слышали да не видели,
Где у нас да погибали
Уж в быстрой реченьке ли да утонули,
В темном болоте ли да засили,
Быстра пулюшка их да пострелила,
Востра сабелька да подкосила.
Да уж там они да погибали,

Они там да умирали,
Где кровь текла да реками,
Где трупы лежали да кострами².

Опыт женщин, родившихся при советской власти (1917–1930), был иным. Эти женщины, с одной стороны, получили некоторые традиционные знания о жизни: им рассказывали сказки и пели колыбельные, они слышали, как причитали их матери, провожая их отцов и братьев на войну. С другой стороны, их воспитала советская школа, где насаждались атеизм и критика убеждений «отсталых» и необразованных крестьян-родителей. Особенностью жизненного кредо этого поколения было удивительное смешение советской идеологии, которая проявлялась в трудовых и идеологических отношениях с государством — в колхозах и совхозах, в партийных ячейках и сельских советах, и магических воззрений и практик в приватной жизни семьи и соседства. Воспитанные досоветскими бабушками, эти женщины сохранили внутрисемейную вертикаль подчинения: они прислушивались к приватному знанию свекровей, каковы бы ни были их отношения. Причитания, записанные от женщин этого поколения, чаще всего обращены к родителям, оплакать которых они считали своим долгом. Иногда их просили об этом матери. Женщина 1925 г. р. рассказывает о том, что мать ее хотела, чтобы она обязательно запомнила и произнесла несколько причетных слов:

<мама> нам-то сказывала: «Я помру, дак вы, когда к дому будете подходить, ли подъезжать, что с похорон, с кладбища, да это проговорите, если не можете заплакаться, — «Нет больше у нас дневной защитницы, да нет больше у нас ночной заговорщицы». Вот это место. «И это место, девки, наизусть. Меня похоронят, дак это сплачьте»³.

Женщина 1918 г. р. вспоминает, что ее и ее сестер учили причитать старшие родственницы:

На девятый день причитают:
«Как тебя, мамонька, да принимали?
Как тебе да спалось-то?
Разройся да мать сыра земля,
Откройся да гробова доска».

Надо на могилу пасть и эти слова сказать. Жонки учили причитать, когда мама болела. В доме в голове покойника садятся, причитают. Сначала старшая сестра, потом меньшая, потом ещё меньшая⁴.

Приведу еще одно свидетельство материнского наказа, он остался неисполненным:

А мама тоже, одиннадцати годов-то почти от матки осталась, мама-то моя-то. Вот она, когда умирать собиралась, дак мне: «Анютка, — говорит, — я умру, дак ты попричитай обо

² Зап. от Настасьи Максимовны Кобылиной, 1916 г. р., д. Кеврола, Пинежский р-н, Архангельская обл. Соб. С. Б. Адоньева, Е. Л. Демиденко. 1985 г. [ФА СПбГУ Пин17а-2].

³ Зап. от Зинаиды Николаевны Дерябиной, 1925 г. р., д. Ценогора, Лешуконский р-н, Архангельская обл. Соб. А. Ю. Цветкова. 2010 г. [ФА СПбГУ Леш17а-18].

⁴ Зап. от Натальи Дмитриевны Богдановой, 1918 г. р., д. Покшеньга, Пинежский р-н, Архангельская обл. Соб. Н. Назарова, Л. Красовицкая. 1986 г. [ФА СПбГУ Пин17-1].

мне». А я говорю: «Ой, мамка, случится, дак какое!» — говорю. ...Она бы и научила меня, а разве буду я... Ну, она как говорила, я одну бабушку приводила, её желание исполнила, чтоб о ней попричитали, бабушку я приводила. Сама нет, не причитала. И старшие две сестры у меня есть, и те ничего не причитали⁵.

Эти рассказы свидетельствуют о том, что было важным для старших в тех состоявшихся когда-то разговорах. Для них было важным не только то, чтобы их оплакали во время похорон. Было важно, чтобы дочери умели «сплакать», умели сказать нечто о себе в состоянии горя, усвоить этот способ речи как форму памяти. Анна Григорьевна сделала не то, о чем ее попросила мать, она пригласила «бабушку», и та поплакала. Она не взяла себе причетную речь, а вместе с ней и структуру отношений, которую она транслирует: когда я говорю, что со смертью моей матери у меня нет больше «дневной защитницы», т. е. того, кто защитит меня в мире людей, и «ночной заговорщицы», той, кто защитит меня от всякого зла, я говорю о себе и своем мире нечто очень важное. И в частности, то, что теперь в моем мире умершая мать займет место заступницы навсегда.

В интервью, приводимом ниже, женщина рассказывает о том, как в конце 1930-х гг. ее мать плакала по умершему отцу:

Я помню, у нас мама плакала, потому что осталась с нами, с четырьмя. Татушка помер. Она так плакала. Я помню... мы перешли, — он осенью помер, мы потом вниз перешли, в нижнюю избу, а потом-то наверх, в мае опять перешли сюда. Она... как заплачет голосом, я другой раз вставаю: «Мама, не плачь, мама». Я пойду тётку Машку позову, да тётку Фёклу, чтобы разговорили-то ей. А плачет-то, дак... А тут какой-то раз она плачет, и я не бужу, и всё помню, как по теперь, она плакала, слова-ти. Так всё, как будто, какой-ле, вот, как ей, как кто-ле ей подсказыват, как читат.

<А что за слова, Вы...>

Я помню. Вот весна пришла, вот она и плачёт: «Вот пришла тогда весна красная, разлились-то да воды вёшние, потекли-то реки широкие, налетели-то да гуси-лебеди», вот, «всё пошли тогда поехали на работушки-ти тяжёлые, на наживушки-ти великие. Вот я, только, горяха горькая, кого буду я спровожатеньки, да от кого буду казну-то получатеньки, да как я буду детей-то растить?» — вот, как по книжке, в которой стихотворения. Вот, дак я, мне было одиннадцать годов, дак я по теперь, у меня эти слова в сердце, да. Дак, как всё равно, как будто их кто-ле выучил, учил⁶.

Людмила Клавдиевна дословно помнит то, о чем причитала ее мать, хотя этот плач она слышала более 70 лет назад. Он, несомненно, обеспечил ее структурой памяти. Мераб Мамардашвили, стараясь объяснить, как работают миф и ритуал, привел в качестве примера плач, который он слышал на похоронах в грузинской горной деревне в молодости:

<...> мы знаем, что в силу порогов нашей чувствительности, в силу времени невозможно находиться в одном и том же состоянии, скажем, в состоянии радостного возбуждения, умственного сосредоточения, гнева, радости, привязанности. <...> И то же самое происходит с памятью об умершем: предоставленное самому себе переживание горя развеи-

⁵ Зап. от Анны Григорьевны Голубковой, 1930 г. р., д. Сидорово, Сямженский р-н, Вологодская обл. Соб. С. И. Жаворонок, Л. В. Голубева, А. Ю. Балакин, 2004 г. [ФА СПбГУ Сям17а-6].

⁶ Зап. от Людмилы Клавдиевны Тяриной, 1926 г. р., д. Погорелец, Мезенский р-н, Архангельская обл. Соб. А. М. Пивоварова, И. А. Кравчук. 2007 г. [ФА СПбГУ Мез17а-2].

вается по ветру, не имеет внутри себя <...> причин дления, причин для человеческой пре-
емственности, сохранения традиции, называемой обычно уважением к предкам. То есть
фактически мы получаем следующую мысль: забыть — естественно (так же как животные
забывают свои прошлые состояния), а помнить — искусственно. Ибо оказывается, что эта
машина, например ритуальный плач, как раз и интенсифицирует наше состояние, при-
чем совершенно формально, когда сам плач разыгрывается как по нотам и состоит из тех-
нических деталей. <...> И они, действуя на человеческое существо, собственно и перево-
дят, интенсифицируя, обычное состояние в другой режим жизни и бытия. Именно в тот
режим, в котором уже есть память, есть преемственность, есть длительность во времени,
не подверженные отклонениям и распаду [Мамардашвили 1999, 10–11].

Причитание матери, которое слышала осиротевшая девочка-подросток, обеспе-
чило ее формой памяти об отце, матери и собственном опыте, которая не подвер-
жена разрушению временем.

Деревенские женщины, родившиеся в 1930-е гг. и позже, редко умели причи-
тать. Их молодость пришлось на послевоенные годы. Они воспитывались совет-
ской школой, советской песней и советскими фильмами. Именно они любовно
хранят все «знаки почета», выданные советской властью. Женщины этого по-
коления имеют в своей биографии вновь вошедший в обиход с конца 1950-х гг.
свадебный ритуал, который уже никак не связывался с родительским выбором
супружеской пары и не предполагал свадебных плачей невесты. Принимая про-
чие установки советской традиции, женщины этого поколения оказываются пе-
ред сложным выбором и в отношении пластики выражения скорби. Свекрови
и матери просят их о соблюдении традиции, но экстастика и метафизика приче-
та противоречат советским нормам выражения скорбных чувств: соседи и род-
ственники выражают соболезнования, осиротевшие — скорбно молчат или тихо
плачут. Публичное причитание их смущало: оно было открытым проявлением
веры в жизнь после смерти, а также открытым проявлением диалога с умерши-
ми. Женщины говорили, что иногда причитают, когда ходят на могилу в уроч-
ные дни или когда вспоминают умершего в каком-то уединенном месте. Так,
в разговоре, который состоялся в д. Ценогоре в 2007 г., Валентина Александров-
на (1960 г. р.), дочь, говорит:

Не хочется, чтоб тут смотрели и видели, не. Ну, я-то могу сама с собой, сама с собой могу
<причитать. — С. А.>.

А ее мать, Ангелина Даниловна (1938 г. р.), вторит ей:

Я сама там приду на камешу одна, дак сажусь, да говорю-выговорю, все выговорю-выговорю-
выговорю. При людях-то неудобно⁷.

Следующее свидетельство — из редких: Венера Михайловна Минаева слыша-
ла во время войны, как причитала ее мать, после того, как получила известие
о гибели мужа на фронте. Теперь она сама причитает на похоронах своих род-
ственников. Поводом для воспоминания стало совместное с собирателями рас-
сматривание семейных фотографий.

⁷ Зап. от Ангелины Даниловны Фатьяновой, 1938 г. р., и Валентины Александровны Фатьяно-
вой, 1960 г. р., д. Ценогора, Лешуконский р-н, Архангельская обл. 2007 г. Соб.: М. Н. Лаврина,
М. Е. Васильева [ФА СПбГУ Леш7а-15].

Вот это папа мой: на фронт-то они шли, так он ведь, видите, наголо брили тогда раньше в армии-то. И, вот, она очень переживала, нас четверо детей, погиб он на фронте в сорок четвёртом году, шестнадцатого июля пришла похоронка. Ну и вот, она... и бабушка была, старенькая, и, вот, нас пять человек. И, вот, она, как с сенокоса приедет, а работали как — ужас... от зари до зари... И детей стока — четверо... Она придёт, дом-то недостроенный был — даже двери... дверей не было... сядет на порог и голосом плачет. Да. Вот... Обращается-то:

Ты венчална моя мила ладушка,
Ты... восхоже моё красно солнышко.
Ты куда нас оставил, ты куда нас покинул, спобросил?
У меня стадышка-то немалые,
У меня детушек-то... детушки-то недорощены,
Недорощены, недоподняты,
Умом-разумом не наставлены,
Твёрдо на ноги не поставлены. Вот...
Золота моя гора осыпалась,
Медовая река повытекла,
Восковая свеча растаяла. Вот...
Накатилась на меня туча грозная,
Накатилась, навалилась —
И её ветрами не пронесит,
И её снегами не рассекает,
Её дождями не промывает. Вот...
И как я буду тебя забывать-то?
Я во сне ли буду засыпаться
Или водой холодной буду отпиваться?
И как я буду... жить, детей-то растить?
Вот... Начнёт причитать...
И ни письма от тебя, ни грамотки,
Ни скорописной телеграмочки!
Ни... тебя ждать-то теперь — не дожждаться
И звать-то тебя больше — не дозваться!
Вот... Плачет...

<А как звали Вашу мать?>

Валентина Фёдоровна.

<А Валентина Фёдоровна сама научилась?..>

Она сама.

<Или кто-то ее научил?>

Ну, испокон веков, из уст в уста передаётся. Всё. Вот. А ещё, вот, знаете, вот, если кто-то молодой человек умер, если молодой... И, вот, значит...

Ты удалый добрый молодец,
Ты с... сокол ты ясный... И по имени называют.
Ты куда это собрался,
Ты куда это спос... сподобился?
Не покатую путь-дороженьку,
Не покатую — безвозвратную.
Ещё и с той пути-дороженьки никто не возвращался,
Ещё никто не появлялся.
Ни письма больше нет, грамотки,

Нет скорописной телеграмочки.
И... ждать — дак не дожидаться тебя,
Звать-то — не дозваться!
И не во пору, не во время:
Твои годики не ушлые,
Твоё здоровьице не утлое,
Цветно платьице не изношено.
И от весны-то ты, от красной,
От личичка, от тёплого, и всё... от зимы...
Не побоялся, не пострашился
Ты сырую земельку-матушку!
Там ведь холодно, там и голодно...
Вот... Как же будешь ты там зимовать-то?!
Как... вот... дальше... а если, значит... эт, как первый день плачут, провожают когда...
А на второй день приходят уже на кладбище. И подходит, и, значит... плачет мать там
и кто-то родственники:
Ты разройся-ка, мать сыра земля!
Ты откройся, гробова доска!
Ты, удалый добрый молодец,
Ты мой сокол ясный,
Ты ж взведи-ка очи ясные!
Ты скажи-ка нам слово ласково,
Как ты ноченьку ночевал,
Как холодную коротал,
Где ходил ли ты, бродил ли ты куда,
Кого видал ли ты, встречал ли там,
И хорошо ли тебе там... тепло ли тебе там, холодно,
Как ты... как же ты там живёшь —
И... без периночки без пуховой,
Без подушечки без перовой,
Без тёплого одеялышка!
Как же ты ноченьку ночевал,
Расскажи-ка нам, поведай!
Вот...
Это у меня двоюродный брат, сёдня память ему. Вон тот маленький домик. Он утонул,
два года теперь. Я так плакала у гроба у его. Я плакала голосом...
<А еще как-нибудь плачут?>
Да кто как умеет, хто чего как... сами говорят всё.
<...>
Утонул он. Молодой! Вот два года назад... Ушёл на речку да... пьяный... Утонул.
<Только Вы на его похоронах причитали?>
Ну... он родственник, дак... хоронили, да... Мать, мать ещё плакала перед ним, вот.
Да, вот ещё плач, я забыла:
Как тошнёхонько ретиву сердцу,
Как зазорно лицу белому:
Моё сердчишко разрывается,
Оно печенями запекается!..
Вот... Как жалею, да как...
<А кто по кому, в принципе, может причитать?>

Хоть кто. Хоть чужих плакальщиц нанимали. Если некому плакать, дак... Просто знакомые с деревни приходили...

<Но только женщины?>

Только женщины, мужчины — нет...

Из рассказа видно, что, оставаясь верной перенятому от матери навыку, Венера Михайловна лояльно относится и к иным формам поэтической речи, использованным в ритуальной функции. Она вспоминает, как в качестве причитания ее двоюродная сестра, учительница, спела на похоронах брата в 1954 г. «Стежки-дорожки»:

А вот у меня, здесь, с этого дома, двадцать четыре года было. Повесился. Молодой человек, двоюродный брат мой. Ой, как мы все его жалели, как мы с ума все сходили! Там неизвестно, какая причина, он покончил с собой... И сестра его — вот, это... я про которую говорила, учительница-то... Она ... организовывала самодеятельность и всё. И, вот, она ... так плакала, так жалела. Подошла она, села ко гробу, к голове его и запела:

Позарастили стёжки-дорожки,
Где проходили Шуроньки ножки.

Позарастили мохом-травой,
Где мы ходили, милый, с тобою!

Вот...

<Можно было просто песни петь?>

Ну, она... плакала и пела, как песню.

<поет:>

Позарастили стёжки-дорожки,
Где проходили милого ножки,

Позарастили мохом-травой,
Где мы гуляли, милый, с тобою!

Птички-певуньи, вы прилетите,
Весть от милого мне принесите:

Где он там ходит, где он гуляет?

Бедное сердце плачет-рыдает!..

Ой, а дальше-то и забыла... Ведь я всю песню знала-то...

<поет:>

Мы расставались, слёзно прощались,
Верить друг другу мы обещались,

И, вот, с тех пор уж нет мне покоя:

Где же мой милый гуляет с другою?

И, вот, с тех пор уж нет мне покоя:

Где-то мой милый гуляет с другою?..

Позарастили стёжки-дорожки,
Где проходили милого ножки,

Позарастили мохом-травой,
Где мы гуляли, милый, с тобою!

И всё.

<Это тоже старинная песня?>

Ну не знаю, какая старинная. Может, и не очень старинная.

<А кто, Вы говорите, повесился?>

Двоюродный брат мой. Это с этого дома...

<Он же утонул...>

А это уже другой, это от мамы, по маминой родне, стороне. А там по отцу, по папе двоюродный брат... Это два года только назад, а тот-то... скажу час... сорок... в пятьдесят четвертом году. Это очень давно было. Это очень давно... И вот этой сестры, двоюродной, тоже её нету в живых...⁸

Причитание — это способ разговора с умершими. С мертвыми разговаривают причетным голосом, и они его слышат. Песня «Стежки-дорожки» — способ сказать о том, что чувствуешь, адресат этого высказывания — не умерший, оно обращено живым, участникам похорон.

Но даже те деревенские женщины, кто уже не умеет говорить с мертвыми посредством причетной речи, тем не менее умеют с ними разговаривать. Это тот опыт, который мы наблюдаем в российских деревнях сегодня: деревенские женщины, приходя на кладбище, не говорят о них в третьем лице, но разговаривают с ними. Старые деревенские женщины ходят на кладбище общаться с мертвыми, со «своими» и с соседями. Им они рассказывают о том, что происходит. Женщины потихоньку обходят все могилы, сначала могилы своих близких, там поминают едой и стопочкой, потом обходят могилы соседей, на них также кладут еду или сыпят крупу для птиц и тоже с ними разговаривают: «Ну что, Иван Петрович, что я тебе скажу, твоя дочка уехала учиться, дети у них хорошие, приезжали...», каждому покойничку рассказывают, что у того в семье происходит, а также что происходит в деревне. Так, Нина Васильевна Петрушкина (1936 г. р.) пригласила фольклористов в 2010 г. сходить вместе с ней на кладбище на Иванов день. Она дошла до могильной ограды, которой огорожены могилы ее близких, зашла в калитку и громко постучала по кресту на могиле:

Ой, Виталий Федорович, как вам спится-лежится? Сынушка Павлик?! Это вы во пору ли думаете убрались-то? <плачет> Это ты-то! Такой-то молодой, сорок-то два года! Это вы думаете, какого все это переносить да переживать?

Потом обращается к спутницам:

Ой-ой-ой, вот так и ходим сюды. А они лежат, укалелись, да думушки не думают чего-то <плачет>. <Кладет возле креста конфеты и печенье.>...⁹

Помняв своих, она вместе с девушками обошла кладбище и поговорила и с другими покойниками. Женщина разговаривает с умершими, тем самым включая их в свой жизненный мир, в свою сеть значимых отношений. Они — ее собеседники, у которых можно найти сочувствие и рассказать о своей печали.

Мы не знаем, что из того, что говорят в причитании, слышат мертвые, но мы точно знаем, какую информацию получают в этой ситуации живые. Причитание обеспечивает возможность жить в мире, в котором смерть — только граница. Мераб Мамардашвили заметил, что похоронный плач «не разжалобить нас хочет, он создает в нас структуры памяти» [Мамардашвили 1990, 16]. Рассмотрение

⁸ Зап. от Венеры Михайловны Минаевой, 1936 г. р., д. Заозерье, Мезенский р-н, Архангельская обл. Соб. А. Ю. Цветкова, В. В. Козак, И. А. Кравчук, 2007 г. [ФА СПбГУ Мез17а-1].

⁹ Зап. от Нины Васильевны Петрушкиной, 1936 г. р., д. Селище, Лешуконский р-н, Архангельская обл. Соб. Л. Ф. Матвиевская, А. А. Гавриленко, А. А. Полякова, Л. Гайна, С. В. Родкевич, Ю. Ю. Мариничева, 2007 г. [ФА СПбГУ Леш17-59].

причетной речи в толще временных слоев социальной истории, даже очень недавней, позволяет различить то, каково участие ритуальной речи в созидании общего жизненного мира и как изменяется этот мир, с отказом от одних и использованием других ритуальных форм.

ЛИТЕРАТУРА

- Мамардашвили 1990 — *Мамардашвили М.* Как я понимаю философию / Сост. и предисл. Ю. П. Сенокосова. М., 1990.
- Мамардашвили 1999 — *Мамардашвили М.* Лекции по античной философии / Под ред. Ю. П. Сенокосова. М., 1999.
- Мерло-Понти 1999 — *Мерло-Понти М.* Феноменология восприятия / Пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб., 1999.
- Хабермас 2008 — *Хабермас Ю.* Проблема понимания смысла в социальных науках // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 3. С. 7–8.
- Ransel 2000 — *Ransel D. L.* Village Mothers: Three Generation of Change in Russia and Tataria. Bloomington; Indianapolis, 2000.

СОКРАЩЕНИЕ

ФА СПбГУ — Фольклорный архив Санкт-Петербургского государственного университета.